

— Девушка! Руку!

Рокочут лопасти, хлопают о воздух, кружат снежную крошку. Ветер жалит кожу, снег застилает глаза, ныряет за ворот и там растекается по шее холодными струйками.

Яре зябко на ветру и страшно под лопастями. Ресницы её слиплись на морозе от слёз. Втянув голову в плечи, она идёт по белому полю сквозь пургу — вслепую, не разбирая дороги, прикрываясь пуховой варежкой в розовую снежинку. Другая варежка почти целиком утонула в чёрной кожаной рукавице. Ей там тепло и надёжно, уверенно как-то. Чёрная рукавица тянет пуховую варежку, а за ней тянется и вся Яра, с головой в плечах, под мохнатым капюшоном парки, с носом в заиндевевшем шарфе, с ногами в дутых штанах и новых тёплых ботинках. Эти ботинки она купила на свои последние две стипендии. Ботинки — хорошие, фирменные, потому что Яра — паталогическая отличница и стипендии у неё всегда повышенные.

Тяга на миг слабеет. Над Ярой склоняется, закрывая собой тусклый дневной свет, парень в куртке снежно-защитного окраса:

---

\* Кэку (удэг.) — кукушка.

— Я от Хлопуши! — кричит он, заглядывая Яре под кашпошон. — Борис Игнатич! Просил встретит!

Яра кричит в ответ: “Хорошо!” — но саму себя не слышит.

Впереди светят круглыми фарами внедорожники. Сквозь шум вертолёта пробиваются гудки, урчание двигателей. Кажется, весь посёлок встречает пассажиров Ми-8. Яру усаживают на заднее сидение в одну из машин, пристёгивают, вручают ещё тёплый термос. Она свинчивает крышку, открывает резиновый клапан — и слышит душистый можжевельник, таёжный мёд. Она пьёт маленькими глотками, согревает руки, горло, всю себя.

И вот автомобиль уже идёт по бездорожью, а за окном скачет тайга, глухая, заснеженная, невиданная досель.

Водитель — невысокий мужчина под пятьдесят, с дальневосточными глазами. Говорит он много, шумно, и смеётся, и время от времени хлопает по плечу сына. Тот уже расстегнул свою снежную куртку, снял чёрные перчатки. Руки у него тонкие, длиннопалые. Отцовские черты в лице смягчены. Он тоже много смеётся, а порой нет-нет, да и глянет на Яру в зеркало заднего вида. Наблюдает.

Яра тоже наблюдает — за убегающей вдаль тайгой. Мысли вспыхивают в её голове и тут же уносятся, да так стремительно, что вскоре остаётся лишь пустота, лёгкая, звенящая, и Яра, разморённая теплом и лесным чаем, прикрывает глаза на короткий миг — и проваливается в забытье.

Она просыпается в чистой постели. Утренний свет слепит её даже сквозь занавески в зелёный горошек. На мгновение ей чудятся запах свежего хлеба, приглушённый бабушкин говорок с кухни, мерный перестук ходиков, а за окном — лето, родной двор, мальчишки уже запускают змея с верхушки старого тополя, и змей трепещет на августовском ветру и бьётся, бьётся в стекло...

Но вот глаза привыкают к свету. И видит Яра, что это не змей, а малая птаха стучит клювом в промёрзшую раму, заглядывает любопытным глазком. И ходики на стене совсем другие, без гирек, и солнце зимнее, и в доме стыло.

Какое-то время Яра лежит в чужой холодной постели, глядя в чужой белёный потолок. Осознаёт. В изножье кровати — стул. На стуле — одежда и пуховые носки в придачу. Также чужие. Всё кругом чужое, и даже Яра сама не своя: будто сдвинулось в ней что-то, провернулось вокруг оси, незаметно, но безвозвратно. И тянет, тянет куда-то в метель, в пустоту — так, глядишь, всю душу вытянет по ниточке.

— Во даёт девка, — совсем близко вдруг старческий голос. — Чего ты, милая?

И крупная, задублённая, тёплая от печного жара ладонь ложится на светлую Ярину голову, с неуклюжей лаской ерошит волосы. От руки пахнет парной выпечкой и луком, и, смахивая кулаком настырные слёзы, Яра говорит:

— Такая голодная, хоть плачь.

Она смеётся — долго, а потом так же долго рыдает в ситцевый передник.

\*

Между второй и третьей булочками с изюмом Яра принимает решение. Она непременно выберется отсюда. Так она и говорит бабушке Игоря, бабе Мане, пока та подливает ей горячего брусничного чая в нарядную, тиснёную золотом пиалу из серванта. У Яры впечатление, что она первый человек за последние полвека, кто пьёт из этой посуды. Японский сервиз — главная ценность дома, а может быть, даже всего посёлка, поэтому Яра обращается с пиалой крайне бережно.

Баба Маня энергично хлопает Яру по плечу. Это у них семейное. Говорит:

— Знаемо, выберешься! Как не выбратся? Хотя в глуши живём, да уж не совсем. И корабель ходит, и вертушка лётает. Вертушка-то почаще: считай, каждый вторник.

Яра спрашивает с набитым ртом:

— А вы сами бывали в городе?

Смеётся баба Маня:

— Да зачем мне? Счастливее, что ль, там живётся?

— Комфортнее...

— У всех канфорт разный, — говорит баба Маня назидательно. —

И счастлив тот, кому хватает, так-то.

— А мне здесь не хватает, — заявляет Яра. — Вот в следующий вторник и улечу.

Она обмакивает кусок булки в чай, рубиновый от ягод, ловко забрасывает булку в рот, и сладкие шарики изюма лопаются на зубах.

— Вёдрышко будет — так и улетишь, милая, улетишь птичкой! А то ещё передумаешь, Бог даст.

Баба Маня садится у окошка, отдёргивает занавески. Ей уже девятый десяток, и когда свет падает на её коричневое, изрытое временем лицо, кажется, будто это глиняная маска, а под маской Яра вдруг видит бабу Маню совсем молодой, какой она была, когда выходила замуж в этот посёлок. Баба Маня щурится на свет, от глаз её разбегаются счастливые лучики, складываются паутинкой.

— Бог даст — передумаешь, — повторяет она, и паутинка играет на стариковском лице. — Хорошо у нас, в Тихом месте. Спокойно, дышится легко. Пообвыкнешься — передумаешь... Останешься, птичка, — Игорёк обрадуется...

Баба Маня всё бормочет свою присушку, заговаривает, и Яра, будто в трансе, видит, как кусок размокшей булки падает из её руки прямо в чашку, распадается на крошки. Белыми звёздами кружат они в чайном небе и, мерцая, тихо умирают на дне.

\*

— Ярославна Марковна? Прошу, входите, отогревайтесь. У нас натоплено... Вот обождите, помогу вам курточку... шапочку... Лизавета! Милая, чаю нам организуй в кабинет! Вот и добрались, вот и добро. Вы уж не сердитесь, Ярославна Марковна, что с вертушки не забрал вас лично, тут участковая нагнула, разбирались... Ой, комедия! Одни алкаши ведь живут, прости Господи. Каждодневно морды бьют друг другу. В фарш бьют! Скучно им, псам, а Катенька, как подорванная, из другого посёлка мчится оформлять. "Буря" у ней — загляденье. Служебный... А вот и чай! Спасибо, Лиза, спасибо, золотая моя. Варенье? Мёд? Кушайте-кушайте! Прекрасный таёжный мёд. Такого мёда вы не ели никогда. Ну, так на чём я?.. Ах, да. Смертным боем бьются мужики. Из-за чего? Так знамо дело, из-за чего. *Шарше-ля-фам*, ха-ха! М-да... Вы, Ярославна Марковна, я вам честно скажу, девушка всяческих достоинств. Так что... К-хм... Будьте осторожны. Составляли мы протокол, а я и думал: "Как же наша новая учительница здесь, в глуши? Не ровён час — обидят!" Так что запомните, Ярославна Марковна: чуть косою взгляд, чуть кто тронет, принуждать начнёт — бегом ко мне! Мигом усмирим, отвадим. Ясно? Вы вот, у Игоря нашего остановились... Только что говорил с ним, разминулись маленечко. Игорёк, конечно, парень хороший, да ветра много в голове. Наивности. Глупости, если угодно. Да-да! Съездил в город, нахватался там энтузиазма: похвалил его кто-то или что... С идеями вернулся! Идейный, язви его в душу. Господская охота! Этнотуризм! Растудьте его в качель... Прошу прощения, Ярославна Марковна, но это ж невозможно без смеха слушать! Я так скажу, промеж нас исключительно: скovyрнуть он меня приехал. На моё место хочет. Он думает, быть главой — это очень просто. Думает, Хлопуша тут штаны просиживает день-деньской, бумажки перекладывает. Что это только по вине Хлопуши одного посёлок гибнет... Вы пейте, пейте чаёк-то, остынет. Нет, ну, а что я могу один?! Власти нам не помогают ни черта. Дом культуры надо отремонтировать, школу — видели школу-то, нет ещё? На вас-то одну еле наскребли:

зарплата, подъёмные, дом вам ещё положен... Н-да. Кругом же деньги нужны. А знаете, сколько бумажек надо собрать? Ещё же не просто так, ещё в конкурсах участие прими. Да какой глава будет этим заниматься?.. Должно как, если по совести? Вот я в край пишу, мол, нам надо то-то и то-то, помогите. И край помогает. А они только отписки, только отписки. А Игорька нашего вообще пошлют лесом, соплика этого. Ишь, скovyрнуть меня решил! Не-е-ет, Хлопушу так просто не скovyрнёшь. Я десять лет глава, и ещё столько же главой буду. Да и народ уж давно ко мне привык. В посёлке одни старики, молодого и не выберут нипочём. А у нас демократия в стране! Народ решает. А я знаю, как народ решит, потому что это мой народ. Никому его идеи не нравятся, даже родной его бабке. Игорь хочет деньги привлечь — это дело благое, это я понимаю. Но как привлечь? Растрывнять природные богатства, проложить туристическую тропу к самому нашему порогу! А место тут тихое. Даже название посёлка так переводится, знали? “Тихое место”. Хорошо, спокойно. Чистота и дичь первобытная. Любого спросите — скажут: не нужны нам чужие, не нужны охотники-туристы, браконьеры эти всевластные. Народ извели уже, ещё не хватало нашу тайгу им отдать. Дурак он, этот Игорь. Молодой ещё, не понимает. Как мёд, вкусный? О, то-то же! Вы, Ярославна Марковна, непременно заходите в гости ко мне домой, в любое время. Здесь же, только с другой стороны крыльцо. Жена обрадуется. Новый человек для нас — всегда большая радость. Дети выросли, разлетелись, а мы свой век доживаем. В забвении. Иногда кажется, даже время здесь стоит на одном месте...

\*

Яра с недоверием оглядывает здание школы.

Школа, кажется, заброшена, по крайней мере, уже лет пять. Обшарпанные стены, заколоченные окна, разрушенное крыльцо. Но местные мальчишки были очень убедительны, когда она спрашивала дорогу.

Вот и входная дверь приоткрыта. Яра заглядывает внутрь, но не видит ничего, кроме замусоренного пола со следами советской плитки. Дальняя стена тонет во тьме, тьма дышит холодом и запустением. От этого дыхания Яра вздрагивает, но тут же хлопает себя по синтепоновым бокам, чтобы взбодриться.

— Эй! — зовёт она вполголоса.

И заходит внутрь.

Посреди холла рядом стоят несущие колонны, покрытые глубокомысленными надписями. Кое-где бетон выщерблен до металлического каркаса, и высказывания обрываются на самом интересном месте. Будто незрячая, Яра пробегает по ближайшей колонне пальцами, считывая щербины и бугры распухшей штукатурки. Обойдя её, ныряет во тьму и находит рукой вторую. Света из приоткрытой двери уже недостаточно, и Яра включает фонарик на смартфоне. Хоть какая-то польза в этой глуши.

Яркий белый луч обтекает колонну. Ученические скрижали гласят: “Гошан — ушан”, “8 класс рулит!”, “Ленка — волосатая коленка” (зачёркнуто красной пастой), “Не взрослей! Это ошибка”, “Люблю Анну Сергевну”, “А что, если птицы поют от боли?”.

Вдруг — тихий шорох у дальней стены. Яра поднимает голову и видит человеческую фигуру. Приземистая, округлая, без рук и как будто на одной толстой ноге. Фигура слегка покачивается вперёд-назад. И молчит. Покачивается и молчит.

Яра шумно слатывает.

— Кто здесь?.. — говорит она.

Белый свет фонарика отделяет фигуру от тьмы. Яра видит её целиком, от огромных расшитых бисером и пряжей валенок до цветастого платка поверх вязаной шапки. Маленькое женское личико расплывается в улыбке, прячет и без того узкие глаза в пергаментных складках кожи, за толстыми линзами очков.

— А я и думаю: кто тут ходит в такой час, кто светит? Ужо не слепи меня, не слепи, — сухонькая ладошка поднимается к лицу. — Ты чейная будешь? Отколь забрела?

— Так я... Новенькая, — лепечет Яра. — Учительница в школе.

А старушка уже семенит к Яре, шаркая валенками по битому кафелю. Она настолько маленькая, что ниже Яры на целую голову.

— Ба! Ярославна прилетела! Вот и праздничек нам! — Она берёт Яру под локоть. — Только чего ты в старую школу пришла? Аль не сказали тебе? Подшутили? Здание-то — рухлядь! Аварийное, во.

— И правда, подшутили. — Яра улыбается, вспоминая лукавые прищурь пацанов. — Спровадили училку, герои.

— Ой, ты их слушай больше, этих оболтусов! — Старушка смеётся тихонечко. — Пойдём, милая, доведу тебя. По пути нам.

— А вы-то что здесь делаете? — Яра в последний раз оглядывает заброшенную школу.

— Так Давыдовна я. Старожилка тутошняя, кружок веду.

— Кому?

— Да известно кому: школьникам.

— Так всё-таки учатся здесь?

— Вроде молодая ты, а уже глухая. Я-те чего говорю? Аварийное здание, заколочено. Не положено тут детям. Садик, вон, отдали под школу...

Они уже на улице, и старушка машет рукой куда-то в сторону. Сквозь слепящий свет дня Яра пытается разглядеть детский сад.

— ... Всё равно три карапуза на посёлок. Но ты не беспокойся, дочка, у нас Маня завсегда готовая с дитём посидеть. А то и на урок возьми, он никому не помешает!

— Что вы, — смеётся Яра, — нет у меня детей.

— Это пока нет. Но будут же!

— Да я, может, с первым же вертолётom полечу отсюда.

Давыдовна смотрит на Яру из-под платка. Улыбается хитренько так:

— Ой, кэку! — тянет. — Закуковала Ярославна наша. Полечу, говорит, кукушкою... И детей бросишь тут одних, безмозглых?

— Да нет у меня никаких детей!

— Так уж и нет? Ну, пойдём, Кэку...

Они поднимаются по трём ступенькам крыльца детского сада, который выглядит ненамного лучше школы. Идут гулким коридором, сквозь запахи столовских тефтелей и мокрого бетона, мимо стенгазет и расписания уроков, на далёкий шум голосов. Голоса всё ближе, уже можно различить отдельные выкрики.

Давыдовна дёргает на себя дверь слева — и Яра оказывается в небольшой, но светлой комнате. Десять советских школьных парт, десять лавок подле них, один учительский стол, одна новенькая классная доска.

Из дальнего угла комнаты в доску как раз летит мокрая тряпка и, вмазавшись в неё, сползает на пол. Посреди внезапной тишины хорошо слышен её смачный шмяк. Восемь пар глаз недоумённо смотрят на Ярославну.

\*

Ольге Давыдовне Языковой семьдесят восемь лет. В посёлке она старожил. Старше неё только баба Маня, но зато Ольга Давыдовна — уроженка.

— Как родилась в своей избе, так и доживаю в ней век, — говорит она, шумно прихлёбывая можжевельный чай. По учительской стелется аромат хвои.

— Раньше-то предмет был в программе по моей части. Знакомила ребят с народным прошлым: учили язык, много читали, переводили на русский. И прикладное искусство тоже я вела: берёсту резали, кожу расшивали... Ой! Чего только не было. Выучила, считай, весь посёлок. И это ещё малая часть осталась, а сколько разлетелось по стране!.. Да что теперь

вспоминать! Часы урезали, меня сократили. Как бы пенсионер уже давно. Оставили кружок раз в неделю, и то спасибочки. Только разве успеешь что?.. Сказки читаем потихоньку да картинки к ним придумываем — вот и вся народная культура.

На часах — два пополудни. Яра провела русский язык у старших (повторяли пройденное), литературу у среднего звена (начали “Петра и Февронию”), чтение в младшем классе. Во рту у неё всё пересохло от безостановочного говорения, горло саднит. Уроки она, само собой, не подготовила заранее — пришлось импровизировать.

Давыдовна подвигает ей кружку с чаем.

— Ты уж не держи на меня зла, *Кэжу*, что я тебя, как в клетку, к ним бросила. Оформят задним числом, как директриса вернётся с конференции, не переживай. Оформят, дом выделят, подъёмные... Но работать, золотая моя, работать надо уже сейчас. Сама, небось, поняла: тут делов непочатый край. Особенно за больших страшно: как они “и-гэ” это машинное сдавать будут?..

С выпускниками действительно беда. За лето всё забыли, осенью непонятно, как и с кем занимались, до экзаменов осталось каких-то полгода, а они бланки ЕГЭ в глаза ни разу не видели. Это значит, нужно в срочном порядке делать заказ на пробники, а на первое время распечатать из интернета, если повезёт. А интернет только у Хлопуши, в администрации посёлка. Значит, подвинется. Хорошо, что группа маленькая, с малыми группами удобно работать, ещё и по парам бьются, по командам. Перекрёстные проверки, соревнования, командные игры... Надо увлекать, надо, чтоб им самим интересно было зазубривать правила... Девчонок всего две, и обе умненькие — значит, будут капитанами. Как там?.. *Шарше-ля-фам*... Вот то-то и оно...

Будто сквозь вату, Яра слышит голос — чужой, надтреснутый, сильный. Это голос учителя Ярославны Марковны. Она говорит, еле ворочая припухшим языком:

— Ничего, Ольга Давыдовна. Натаскаю. Успеем.

— Вот и славно, вот и ладно! — радуется Ольга Давыдовна. — А то уж думала, опять нам дурочку молоденькую прислали. Думала, сбежишь первым же рейсом. А ты настоящая. Учитель. Ты не сбежишь. Не сбежишь ведь, а? Ну что, как горло? Попей чайку: расслабляет связки, мысли в порядок приводит. Давай, пей.

И Яра пьёт.

Связки действительно расслабляются, бежит вниз и разливается по всему телу приятная сладкая теплота. Но вот мысли почему-то идут вразброд, туманятся, меркнут и пропадают вовсе. Яра так устала, что ни о чём уже не думается, и когда Игорь входит без стука в учительскую и, расцеловавшись в обе щёки с Давыдовной, начинает собирать Яру — куртка, шапка, сумка, — она двигается, как сомнамбула, мягкая, податливая.

— А мы куда? — спрашивает она, но как-то между прочим, без особого интереса.

— Так время уже — посмотри! И *найна*\* заждалась...

— Как там, кстати, моя Манечка? — это Давыдовна.

— Да тихонько всё, спасибо.

— Вот и славно, раз тихонько.

— Приходите в гости.

— Ой, приду, да и *Кэжу* проведу, раз уж она с тобой теперь.

— Почему *Кэжу*, *татумни*\*\*?

Давыдовна улыбается только, мол, сам поймёшь рано-поздно.

— Что ж, я стеснять вас буду, — как-то невпопад говорит Яра. Ей тяжело поспеть за странным двуязычным разговором сельчан. — Мне ведь свой дом положен, как учителю... Обещал Хлопуша...

\* Найна (удэг.) — бабушка, мать отца.

\*\* Татумни (удэг.) — учитель.

— Что за глупости? — Игорь мягко прерывает её. — Ну, собралась? Пойдём. *Кэжу*... Надо же.

Тяжёлая рука в чёрной рукавице опускается ей на плечо.

\*

Игорь очень молодой, моложе Яры на три года. И немножко такой восторженно-наивный, прав Хлопуша. Мечты у него больно утопические. Хорошие, но утопические.

— Я обязательно стану местным главой, вот увидишь. И разовью посёлок. Сделаю базу отдыха, займусь этнотуризмом. И деньги заработаем, и культуру сохраним. Здорово придумал?

Они идут по главной из пяти улиц: мимо покинутой всеми школы, мимо сельского клуба и администрации с единственным фонарём на всю округу, мимо чьих-то хозяйств. Подмораживает. В каждой избе топится печь, и над посёлком зримо клубится стужа. Печной аромат щедро льётся из труб в морозную синь. Самый уютный из всех запахов, такой редкий для большого города. Яра тянет носом дымную пряность — и вся растекается в блаженстве.

— Сопелку-то спрячь, — мягко советует Игорь, — отморозишь ещё.

Справа от них вдруг порекает стайка свиристелей, а следом с гиком и криком уже несётся местная ребятня.словно беспечные лесные зверята, они голосят, визжат, дерутся на бегу, падают в снег с разгона и барахтаются в этом белом сухом море, нечуткие к холоду, избавленные от большого мира. Вот они уже облепили Яру со всех сторон, кружат хороводом, заглядывают в лицо:

— Ярославна Марковна! Ура!

— Мы вас любим!

— Оставайтесь у нас насовсем!

— Давайте мы вас до дому проводим?

С трудом Игорь разгоняет их, за что получает в спину звонкое: “Тили-тили-тесто!..”

— Эффект новенькой, — Игорь как будто смущён. — Ты теперь у них любимая игрушка. Может, ещё передумаешь улетать.

Улетать... Что-то внутри Яры вдруг трепещет при этом слове, и она силится ухватить это трепетание, но оно зыбко, будто в затаянном сне. Вот, наконец, схвачено, осознано, и Яра готова возразить, уже набрала в грудь воздуха, уже почти произносит вслух...

— Не улетай, *Кэжу*, — говорит он, — твоё место здесь, — и ставит морозную печать молчания на её губы.

Ночью рождается буря.

\*

— Обычное дело, — говорит Хлопуша. — Ничего не попишешь, надо ждать. Бураны свирепствуют уже неделю. Вертушки отказываются вылетать. Это же очень опасно. Сколько их поразбивалось!..

Яра с сомнением смотрит в окно. На небе — клочковатая хмарь, по утрам бывает густой туман, но и только. Трудно представить, что вертолёты не могут пробиться в эту глухую тишь.

— Мы тут, — говорит Хлопуша, — в полной изоляции, спасибо тайге и горному хребту. Тихое место, помните?

— Как в отеле “Оверлук”, — кривит рот Яра.

— Каком отеле?..

— Неважно. Похоже на снежный плен, в котором можно с ума сойти.

— Н-да... — тянет Хлопуша задумчиво. — Сразу видно, много вы книжек читаете.

Спустя месяц стрекочущий Ми-8, наконец, садится на площадку в нескольких километрах от посёлка, в положенный ему вторник.

Яра как раз проверяет тетрадки подле окна с гороховыми занавесками и потихоньку ест ежевичное варенье, почти чёрное от зимнего закатного солнца. Баба Маня сидит тут же, на сундуке. Она тихо напевает что-то причудливое, расшивает Яре унты: “Вот — говорит, — лучшая обувь для тайги, а не эти твои покупные”.

Под её руками буйно цветут тонкие завитки, разноцветные лепестки. Узор складывается в птицу, и Яра чуть улыбается, узнав её. Это *кэку*.

Ольга Давыдовна рассказывала, что кукушка — птичка непростая. Покровительница женщин, предсказательница будущего, для душ отлетевших — самый надёжный провожатый. Жаль только, зимой её не слышать.

— *Найна*, а летом как здесь? Хорошо?

— Хорошо, милая, хорошо. Луга заливные в цвету. В тайге — папорот, лопухи у него — до плеч и широкие — земли не видеть. К земле нагнёшься, а под папоротом — грибы, грибы, грибы!.. Горные речки звенят, с птицами спорят. Ох, и петь будут — заслушаешься! Знаешь, как у нас говорят? Поселись там, где поют: кто поёт, тот худо не думает.

И, словно в подтверждение этих слов, вновь затягивает грустную свою песню, какую пела, наверное, ещё молодой, расшивая мужнин кисет. Яра слышит и переливы её голоса, и гул жара в печной трубе, и треск поленьев, и клочкотание густого супа на плите, и перебранку свиристелей за окном. Чудится даже, что слышит она лето.

А вертолёт совсем не слышит.

В Тихом месте далёкие хлопки лопастей вязнут и пропадают вовсе. То лиглохнут они в тайге да в снегу, то ли ветер так дует здесь, что уносит прочь любую тревогу.

\*

Февральские ночи на удивление ясные, морозные. Игорь и Яра возвращаются с охоты. На Яре — меховые унты, расшитые кукушками, за плечом — мешок с битым соболем. Игорь расстроен: встретила на угодьях косуля, а подстрелить нельзя.

— Раньше лицензию на охоту бесплатно давали, как на пропитание, а теперь — налог. Одна косуля стоит восемьсот рублей, а где такие деньги брать? В этом году отец даже на рыбу квоту не получил. Говорят: национальность не подтверждена. Представляешь? В паспорте же не пишут сейчас. Это надо ехать в краевой центр, доказывать... Эх, провести бы сюда этнотуризм!.. Хотя тогда, конечно, всех косуль перестреляют, да и соболя перебьют. Жалко...

А Яра опрокидывает голову назад — и цепенеет.

Всею своей мощью, всей бесконечностью пустого безвоздушного пространства нависает над Ярой Бездна. Вспыхивает мерцающей шкурой, будто древнее священное животное. Брюхо её вспорото, и течёт из раны белая звёздная кровь. Звёздный свет каплет в глаза, и от него Яра видит вдруг всё лучше, глубже. Вот уже глаза не выдерживают, плачут космической благодатью. Слёзы натекают, и Яра слышит вдруг, как низко гудит Бездна.

Звёзды отзываются на звук. Так отзываются соринки на глади озера, если камешком пустить по нему крути. С дальних концов Бездны перемигиваются звёзды, приглашают Яру в свой зачарованный разговор. Голова её кружится, ноги едва касаются земли. Притяжение слабеет.

— Страшно... — шепчет она и слепнет от собственных парных дышков, от звёздного света, от хрусткого снега, те звёзды отражающего.

Рука в чёрной кожаной рукавице обхватывает её плечи — и наваждение проходит. Пятки накрепко вбиваются в белую землю. От Игоря идёт горячий, пряный дух живого тела, а Яра до костей вымерзла под брюхом у Бездны.

— Чего ты испугалась, глупенькая? — бормочет Игорь ласково. — Есть у нас сказка про двух братьев-охотников. Ходят братья по небу, бьют соболями



души. Возвращают их на землю. Вот мы с тобой пособольничали немного, теперь и они там, на небе, собольничают, гонят зверя обратно. Вон какую дорогу протоптали, во всё небо!

— С такими сказками наш сын шаманом вырастет, — улыбается Яра кротко. — Это просто Млечный путь.

— В таком случае, — Игорь глядит на неё очень серьёзно, — он унаследует бубен прапрабабки. Над нами *Буа Гидьни*, Дорога небесных людей. Запомни: здесь это *Буа Гидьни*. А ты — *Кэку*. А мы — твоя семья.

И *Кэку* покорно кивает.

\*

Дни текут лениво, похожие один на другой, как небесные братья-охотники. Даты проставлены в классном журнале и дневниках, но они ничего не значат. Важно только, что по четвергам больше всего уроков, в пятницу — всего один, а в субботу факультатив для старших, и такой порядок вещей неизменен. Время зациклилось, замкнуло обод и неспешно катится сквозь зиму, будто красное солнце по небосклону. Только порой нет-нет, да и подпрыгнет на камешке, тряхнёт будто. Это по вторникам. Но всё тише тряска, всё реже вспоминается большой мир.

Где-то бурлит он, клокочет, переваривает сам себя в круговороте бессмысленного потребления ресурсов и информации. Дети там больше не играют зимой в снегу, не гоняют птиц: вся природа из городов давно повывелась, и даже пахнет в них едуче, мусорно как-то, а ночами ни звёзд не слышать, ни уж тем более соболей.

Да и *Кэку* отяжелела, укрепилась. Вся её жизнь, наконец, поросла корешками.

Она пьёт горячий чай, ходит на охоту с Игорем, учит детей, носит своего под сердцем. Слушает сказки тёмными зимними вечерами. *Найна* вещает напевно:

— Это ещё тогда было, когда, на камень глядя, каменного человека видели; на медведя глядя, думали — таёжного человека видят; на рыбу глядя, думали — водяного человека видят; на дерево глядя, думали — древесного человека видят. Тогда с людьми всякие вещи случались, каких теперь не бывает.

*Кэку* слушает.

— Жила в дальних краях девушка. Красивая была — вот как ты у нас, такая же красавица. Ненасытная — страсть! Как будто одно только тело без мысли, жажда без контроля, одна в ней тяга земная, слепая, оморочная. А внутри — пустота. Всё-то наесться не могла. Набьёт себя семенами и хвоей — встанет дремучий лес-тайга, насыплет речных камешков в рот — выпорхнут они белобокими чайками, а то орлами знаком заклекочут, а то кукушками народятся...

Запомни, дочка: чем свой сосуд наполнишь, то и вызреет в голове: будешь через то на мир смотреть, и тем будешь отмерять всему свою меру. Вот я, как и ты, пришла со стороны: пустая, чужая. А здесь своею стала. Приняло меня Тихое место, одарило мудростью. Ну, так слушай дальше...

И тянется сказка долго, а за нею — ещё одна, а та переходит в сон, и вот уже снится *Кэку*, будто летит она в пустоте, под звёздным брюхом у Бездны, и ведёт за собой целую стаю не то детей, не то соболей. Провождает их на изнанку мироздания, по ту сторону *Буа Гидьни*.

И чуется *Кэку*, будто сама она жила здесь много раньше, давным-давно, когда степные *мунгалы* налетали чёрной ордой, когда на птицу глядя, думали — небесного человека видят. И поёт *Кэку* во сне, и худого не думает, но песня её — от боли невыразимой, подспудной. А где болит, того и не скажет *Кэку*. Вроде и крылья при ней, и перья целёхоньки, а за *Буа Гидьни* подняться не может. Налетает ледяной ветер-стражник, опрокидывает вниз — и она падает, падает, падает...

# ВОТ ОНА Я

Я смотрю в чистое небо над тайгой. У неба и тайги — один цвет. Небо светлее, тайга темнее, вот и всё различие. В нашем языке есть слово, которым можно назвать сразу все цвета: *нярг*. Ни у кого такого больше нет, чтобы и трава, и вода, и одуванчик — всё одним словом. Прибавишь его к дереву — скажешь о цвете дерева, прибавишь к камню — скажешь о цвете камня. Бабушка говорит, в нём запрятан общий цвет природы. Это очень удобно. Скажи только одно слово — и ты уже сказал обо всём мире единым духом.

Мой мир — это наш посёлок на берегу речки. Это тайга кругом. Это хвоинки под ногами и небо над головой. Мой мир — это я, зовут Майкой. А ещё — Ларька, мама, папа и бабушка. Бабушка всегда дома, потому что ходит уже плохо. Папа сделал ей две палки, и она стучит ими по дому, пока, как она говорит, “поворачивается по хозяйству”. Поворачивается бабушка обычно на кухне. Я помогаю маме с остальным. У нас свой огород, пятнадцатилетний кур и два петуха, а ещё корова, которую зовут *Кэй* — Зимняя.

Ларька — это мой брат, он уже взрослый и учится в интернате. Там он Илларион Игнатович. Интернат далеко от посёлка, поэтому Ларька уезжает туда с другими ребятами постарше каждую осень. Возвращается только зимой, ненадолго, и потом ещё на всё лето. Это называется “каникулы”. На каникулах Ларька каждый день ходит с папой в тайгу, на промысел. Все в посёлке знают: мой папа — самый удачливый охотник и рыбак. Поэтому я им горжусь. А ещё потому, что он добрый и нас очень любит.

Вот и весь мой мир. Он маленький, но я и сама небольшая. Даже в интернат не езжу: говорят, рано ещё. А я бы хотела когда-нибудь отправиться на одном из корабликов туда, далеко, в интернат. Летними вечерами папа с Ларькой возвращаются с промысла. Папа, уставший за день, быстро засыпает. Ларька тоже валится с ног, но сдаётся под моими уговорами. Начинаются рассказы о большом мире, а большой мир начинается с корабля.

Сырым промозглым утром, чуть свет, я выхожу на берег нашей речки и подолгу смотрю, не покажется ли корабль. Раньше корабли ходили к нам часто, почти каждый день. Привозили разное, в основном, конечно, табак, лекарства, домашнюю утварь. Иногда было сладкое или даже фрукты. Однажды сильно нагруженный кораблик привёз ящик мандаринов. Маме досталось два килограмма. Мандарины она внесла в дом бережно, как драгоценность. Очистила нам с Ларькой по одному. Я попробовала — кислятина ужасная! А Ларьке понравилось. Только он потом пошёл весь красной сыпью и чесался, как сумасшедший.

Сейчас корабль приходит пару раз в неделю. Большой мир всё реже стучится в мой маленький. Я смотрю вдаль, за горизонт, туда, где река впадает в небо, и уже не вижу ни реки, ни неба. Вот река несёт кедровую шишку. Вот порснула плёсом большая рыба. А корабля всё нет.

Холодный ветер треплет моё байковое платице. Давным-давно у мамы был сарафан, такой же, только яркий. Где-то он сейчас?.. Я слышу, как мама зовёт меня — громко, на весь посёлок, но откликаюсь не сразу. Ещё немножечко я заглядываю за край своего мира. Ничего. И возвращаюсь домой.

Бабушка наша в молодости тоже была славной охотницей и рыбачкой. Она часто вспоминает об этом. Бабушка очень скучает по тайге. Иной год добывала вместе с сестрой своей по несколько тысяч белок и другого пушного зверя. Из большого мира ей за улов присылали подарки: то доброй ткани отрез, то платок шёлковый. Один раз гребень малахитовый подарили. Этот гребень до сих пор при ней. Она носит его на голове, под платком, им же расчёсывает себя и меня.

— Богатые у тебя волосы, Майка, — приговаривает тихонько. — Ой, бога-а-атые. Красавицей вырастешь, *манмы нетая*.

Это значит “моя девочка”. Бабушка говорит на двух языках одновременно, а на котором больше — от настроения зависит.

— Кому только отдавать такую красавицу... — это папа. Папа точит

ножи о камень в дальнем углу. Но слух у него охотничий, острый. — Женихов ей не народилось, а в город везти — она ж не коза.

— Ничего, *манмы нетая*, ничего, — воркует бабушка, и малахитовый гребень, послушный её руке, так и гуляет в моих длинных тёмных волосах. — Я охотилась с малых лет, и тебе уже пора науку осваивать, с тайгой общаться. Взял бы ты её с собой, сынок, всё подмога, пока Ларька учится.

— Малая ещё, — роняет отец по обыкновению, проверяя ногтем остроту ножа.

Нож этот — его любимый охотничий. У Ларьки тоже есть свой, подарок на десятилетие. В интернат его брать запрещено. Поэтому Ларькин нож лежит в нише за печкой, глубоко в груди старых тряпок, спрятанный от меня.

Вечером, когда мама уже доит корову, а папа ещё не вернулся из тайги, я подсаживаюсь к бабушке, которая штопает наши носки при тусклом свете лампочки. Она не может попасть ниткой в игольное ушко.

— Сообрази, — говорит, — у тебя глаз остренький.

Я без труда вдеваю нитку. Бабушка ловко окручивает ею палец, вяжет узелок. Натягивает дырявую пятку моего носка на картофелину и принимается за работу.

— Ба, а ты и старенькой в тайгу ходила? — спрашиваю.

— Пока ноги были, везде ходила. Да в тайгу уж только за ягодами, да грибами, да кедрачить помогала мужчинам. Зверя не била уже.

— Почему?

— А знаешь, как бывало? Увидишь белку там, бурундука — тут бы их и... А жалко. Ух, как жалко! Ведь по тайге идёшь — разговариваешь с ними. А убьёшь — с кем словом перекинешься? Запомни, дочка: каждое дерево в лесу, каждая рыба в воде тебя поймёт, только заговори с ними. Не зря мы лесными людьми прозываемся. В тайге надо, знаешь, как ходить? А всё назад смотреть, промеж ушей — нет ли зверя или человека дурного. Тайга — она не злая, конечно, да всякое бывает.

Однажды зимой, в феврале, когда солнце уже на весну посматривало, сидим мы с мамой дома, на сундуке, поём да мастерим мне куколку из того, чего не жалко. Я стачиваю кукле юбку, а мама расписывает личико кисточкой из белки — у неё здорово получается рисовать.

Бабушка говорит, мама — пришлая. Может, оттого и рисует красиво, что большой мир видала. Теперь расписывает дощечки, игрушки, вышивает пегухов и огромные, тяжёлые цветы на полотенцах. Вот только говорить о большом мире не любит — ей наш маленький милее.

Одно такое полотенце вдруг падает на пол вместе с кастрюлей, уха плещет через край. Бабушка замирает у окна, руки к голове прижала, причитает по-нашему, по-лесному.

— Закрой!... Дверь закрой! — кричит маме.

Мама закрывается изнутри на все замки и щеколды, задёргивает занавески, даже угли гасит. Втроём мы садимся у остывающей печи и ждём, охваченные смутным страхом. За окном что-то ворочается и тяжело дышит — большое, неизвестное. Сонные куры в курятнике подают голос, и мама начинает молча плакать, потому что боится за корову. Но тут издали доносится заливистый лай соседских собак, выстрелы и крики мужчин, и мне кажется, что я слышу папин голос.

— *Хомо тат!* — кричат они. — *Хомо тат!* — прогоняют.

Я слышу "*коркы*" — значит, в посёлке шатун. Теперь, когда я знаю, что это медведь колобродит, страх отступает. Голодный зверь ревёт совсем близко от нашего дома, а мне ни капельки не страшно. Если бабушка правду о тайге говорит, достаточно крикнуть мишке самое грубое, что есть в нашем языке: "*Хомо тат!* Пошёл прочь!" — и он уйдёт.

Но *коркы* приходит в посёлок ещё несколько раз: то корову соседскую выдерет, то собаку поломает. Папа говорит, зверь очень изобретательный попался: мужчины его с одной стороны села караулят, а он с другой появляется. После очередного набега папа приходит весь какой-то тихий и согорбленный, руками самого себя обнимает. Мама ведёт его в спальню, а потом только и делает, что греет воду да сидит подле него, обтирает его новым

полотенцем, отпαιвает травами. К нам приходят другие охотники из села, соседи — проведать. Говорят, папа тому медведю глаз вышиб.

Он потом долго не выходит на промысел. Вот и лёд уже начал вскрываться, и рыбалка идёт вовсю, а мы едим зимние заготовки, потому что папа болеет. И тогда я сама, пока никто не видит, надеваю тёплые штаны и шерстяные носки, обуваю высокие резиновые сапоги, хватаю Ларькину острогу с наконечником из консервной банки и чешу на речку, туда, где нет других рыбаков. Я смело захожу в быструю, ещё студёную воду, ногами зарываюсь глубоко в донный ил. Замираю, чтобы рыба, одуревшая от весеннего воздуха, меня не видела. Руки у меня крепкие, глаз — зоркий, а острогу Ларька делал под малый рост, но на совесть.

Пойманную рыбу я выкидываю на берег. Она бьётся, ещё живая, на песке, сверкает на солнце. Солнце высокое, молодое, жаркое, припекает макушку даже сквозь платок. В реке такое же солнце, только жидкое, словно расплавленное. Оно играет на волне, летит во все стороны холодными, жгучими брызгами. Когда ноги мои совсем замерзают, я выхожу из воды и, неловко ступая по сыпучему берегу в огромных резиновых сапогах, поднимаюсь к посёлку. На плече у меня острога с пятком крупных рыбин, в подоле платя — ещё несколько, помельче.

Мне навстречу выходит папа, в кое-как накинутой душегрейке, опирается на одну из бабушкиных палок.

— Нарыбачилась? — спрашивает строго, а у самого глаза так и блестят, так и смеются. — Вот поглядишь, мать тебе даст.

Мама встречает меня у калитки и даже не ругает. Целует крепко в обе щеки.

В мае мне исполняется двенадцать, и папа впервые берёт меня в тайгу на несколько дней. Мама даёт нам вдоволь припасов, напоследок потуже затягивает мой платок. Соседская лайка увязывается поначалу следом, потом отстаёт.

— Пап, а мы ещё заведём собаку?

— Заведём, Майка, подожди немного.

Раньше у папы была собака, тоже лайка, и звали её, как звезду: Вега. Папа брал Вегу на охоту, когда Ларька был малой, а я только ходить училась. Вега была самой лучшей собакой и другом. Но однажды она погналась за волком — да так и сгнула в тайге. Папа верит, что Вега жива до сих пор, что она прибилась к волчьей стае и когда-нибудь он встретит её в лесу. Вот и не торопится искать замену.

В кедровнике даже воздух богат смолами. Если простудился — ходи и дыши, пока можется, самое лучшее средство. Папа ступает по рыжему ковру из хвоинок, что твой кот, не слышать его. Я тоже стараюсь идти тихо. В тайге сумрачно и спокойно, ещё слишком холодно для гнуса, кое-где в низинах лежит снег. Хвоя липнет к нему, греет, растапливает, гонит прочь спрятанную по углам зиму.

Мы приходим к папиному *карамо* — охотничьей землянке, глубоко вросшей в мох, так что и не видать почти крыши. Папа говорит, в таких раньше весь наш народ жил, да давно уж избы на русский манер ставят. А в тайге лучше всего оставаться самим собой. И мы с папой говорим на нашем языке всю дорогу. Я слов мало знаю, и папа учит. Смотрит вокруг себя и переводит мне тихонечко: как по-нашему вода, как земля, трава как, снег. Я повторяю за ним, и звуки перекатываются маленьким эхом между нами.

Папа приводит *карамо* в порядок, чистит его после зимы и где-то подлаживает, а я помогаю. Так проходит первый мой день в тайге. Ночуем мы внутри землянки. В протопленном *карамо* тепло, хоть земля ещё стылая.

В мае зверя и птицу уже не тревожат, объясняет папа, потому что потомство вывелось, и таёжным обитателям о детках надо думать, а не от охотников бегать. И мы чуть свет спускаемся от землянки к реке — здесь её русло делает плавный красивый изгиб — и долго сидим с удочками. У самого берега ловятся щука и язь. “Охота на охотников” — так папа называет нашу рыбалку. Он старается выглядеть сильным и бодрым, но я знаю: папа больной из-за медведя до сих пор.

Вот он ослабнет: “Что-то пристал я, дочка”. Ляжет на песок, глаза закроет. Спит — не спит, дышит — не дышит. Я срываю молодую травинку, подношу к носу — травинка колышется. Тогда я тоже ложусь на песок и смотрю на небо, на верхушки кедров, что к небу тянутся, в мягкие облачка головой укладываются. Солнце припекает, а песок спину холодит. Трава растёт почти у самой моей головы. В ней копошатся первые отважные букашки. Вот бежит муравей: пихтовое семечко во рту зажал и несёт его гордо, как флаг своей земли. Вот ползёт важный и блестящий майский жук, и спинка у него — всех цветов сразу, смотря как свет на неё упадёт. А кругом тайга, тёмная, глухая. Деревья на ветру качаются, лапами шевелят — а что там, за деревьями? Медведь ли, человек ли? Страшно! Вот и смотришь в траву, голову поднять боишься.

И будто слышу я голос бабушки, её напевный сказ о земле нашей. Первая земля была непригодна для человеческого житья — мертва, холодна, пустынна. Но Мать-старуха послала на землю кусочек мха, кусочек травинки, и разросся мох по всей земле, заколосилась трава и покрыла всю землю, насколько видать глазом, от неба до неба. Так выросла новая земля поверх старой и живёт она до сих пор. Трава — это волосы Матери-старухи, и собой она укрывает землю. А в каждой кочке болотной голова Матери-старухи угадывается. Всеми в мире управа — *Ном*: от него погода зависит, а от погоды уже зависит человек. В тайге же главенствует *Мачыль Лоз*, Лесной Хозяин. Бабушка говорит, у него только один глаз, прямо посреди лба, зато им он видит душу каждого. Кто кривит душой, кто от рода своего отворачивается, тому и не видать доброй охоты. Так говорит бабушка и учит нас с Ларькой языку, чтобы было, о чём с Хозяином при встрече побеседовать. Только Ларька бросил по-нашему говорить, как в интернат стал ездить.

А тем летом жду его, соскучилась, а он и не возвращается. Только письмо кораблик привёз: решил с друзьями в городе лето провести. “Майке мой нож не давайте!” — пишет. Разве жалко ему? “Думает, поранишься”, — объясняет папа. Он расстроен и почему-то сердится на маму, на её город. Я думаю, папа боится, что Ларька бросит его так же, как и Вега. Но я-то вот она, не брошу! В интернат больше не прошусь. “И правильно, — говорит бабушка. — Эдак если все поедут, кто будет с тайгой разговаривать? Заскучает Мать-старуха, иссохнет, сердечная”.

Папа всё болеет и поэтому-то берёт меня в тайгу всякий раз. Думает, если помрёт, так хоть я, живая душа, к людям выйду и расскажу, где он лежит. Уже осенью, когда становится понятно, что Ларька не вернётся, папа водит меня по тайге и говорит, говорит, говорит — почти шёпотом из-за хрипов в груди, передаёт науку промысла, самобытность нашу. Но я, глазастая, уже давно всё сама подметила, всему наострилась: и как силки ставить, и как беличьи капканы в пихтовой воде варить, и как стрелки мастерить для лука, и как следы читать. Научилась смотреть назад, промеж ушей. Тайга совсем не страшит меня больше. Я говорю с миром на его языке. Приспосабливаюсь к тому, что есть, смотрю вглубь, в саму чащу — без страха в ногах, без злости в сердце, без лжи в голосе.

\*

Папа умер пронзительной, стыллой осенью того же года. Белки уже сменили свои летние лёгкие наряды на зимние шубки, и мы обходили наш участок, расставляли капканы, пахнущие пихтой, на крупные кедровые раскладывали в них приманку. Когда с капканами было покончено, дело уже шло к вечеру. Ослабевший папа прилёг на лапник, сказал по-нашему: “Вот он я”. Закрыл глаза — и больше не поднялся. Я долго смотрела в прозрачное небо, провожала взглядом последние клинья птиц. Кедровые шишки, набухшие шишками, тяжело махали им вслед. Из-за кедров на прогалину вышел *коркы*. Большой и сильный, с доснящейся шерстью, которая сливалась с кедровыми стволами, кривой на один глаз. Зато другой был цел, совсем как у Лесного

Хозяина. Им он пристально и долго смотрел прямо на нас, на папу, что лежал, недвижим, на лапнике.

Сколько он так стоял поодаль, сказать трудно. Потом где-то вдалеке завывали волки — и *коркы*, будто опомнившись, ушёл обратно в тайгу. Тогда я поднялась и пошла к людям, как хотел папа. Я накрыла его, как могла, ветками, и пошла в посёлок.

Впервые я была в тайге совсем одна, и уши мои едва ли не прыдали, как у косули, всякий раз, когда трещала ветка или падала крупная, тяжёлая от семян шишка. То и дело я оборачивалась и вглядывалась в стену кедров за спиной: нет ли медведя, нет ли волка? Но тайга не была зла ко мне. Я шла, и губы мои, как заведённые, выбивали папины последние слова: “*Ость-ях, ость-ях, ость-ях*”. Вот она я. Вот я. Я — это Майка, двенадцать лет. Я — это весь мир, и волосы мои — трава.